**Что значит Солженицын для каждого из нас?**

**Круглый стол «Континента». Париж, 19 сентября 1978 года**



**Опубликовано в журнале:**[**«Континент» 2013, №152**](http://magazines.russ.ru/continent/2013/152/)

**Владимир Максимов.** Александру Солженицыну исполнилось шестьдесят лет. Всего шестнадцать лет отделяет нас от его литературного дебюта, но за эти немногие годы, благодаря ему, в сознании современного человека произошли коренные и теперь уже необратимые изменения. Почти в каждом из нас началось наше внутреннее освобождение из-под глыб привычных понятий, идеологических табу, угнетающих клише и духовной предвзятости. Даже те, кто с отчаянным упорством сопротивляется его влиянию, вынуждены отныне действовать и мыслить в предложенных им императивах и категориях.

Солженицына можно принимать или не принимать, слушать или не слушать, любить или ненавидеть, но трагическая эпоха, которую мы переживаем, протекает под его знаком и, вне зависимости от нашей воли, будет названа его именем, ибо всей своей сущностью он обращен не к партиям, расам или социальным сословиям, а непосредственно к человеческому сердцу, какую бы веру оно — это сердце — ни исповедовало.

Зачастую он произносит вещи для нас неудобные и малоприятные, взрывающие изнутри наш душевный комфорт и житейское равновесие, но, если бы Исайя свидетельствовал в расчете на интеллектуальную буржуазию своего времени, мы не имели бы Библии, а если бы Солженицын в своих высказываниях с самого начала ориентировался на университетских либералов Восточного побережья Соединенных Штатов Америки, мы бы не имели ни «Архипелага ГУЛаг», ни «Красного колеса».

Наш друг, замечательный румынский писатель Пауль Гома, с предельной убедительностью сформулировал сущность сложившейся в современном мире ситуации: «Все мы живем в одной Биафре, и столица этой Биафры — Москва». Мне хотелось бы добавить, что в таком случае Дант этой Биафры — Александр Солженицын. И в этом, на мой взгляд, его роль в новейшей истории и в жизни каждого из нас.

**Пауль Гома**. […] Что значит для нас Солженицын? Для меня он, во-первых, подтверждение правильности выбранного мною пути. Во-вторых, прорыв, сделанный им в сознании живущих на Западе, чрезвычаен, и я принадлежу к тем людям, к тем писателям, которые воспользовались этим прорывом. С другой стороны, для моих соотечественников, оставшихся там, Солженицын — это и человек, освободивший их от страха, и своего рода алиби их трусости. Они ведь вот как говорят себе: ну, Солженицын, он русский, мы же, румыны, — люди маленькие. У русских — традиция бунтовать, а у нас — традиция устраиваться.

За несколько дней до изгнания Солженицына из СССР я себе сказал, что советское правительство ничего не может против Солженицына: ни посадить его, так как оно от этого не выиграло бы, ни подстроить несчастный случай — всё это не было бы решением. Я подумал тогда, что русские — я имею в виду руководство — найдут другой выход: они отдадут Солженицына Западу, чтобы тот его поглотил бесследно. Если я ошибся, то разве что наполовину. […] Во всяком случае, мне хочется кончить тем, что друзья ли, недруги ли Солженицына — мы все его должники.

**Пьер Дэкс**. Мои отношения с Солженицыным начались еще тогда, когда во Франции никто ничего о нем не знал. Передо мной оказался текст «Одного дня Ивана Денисовича», представленный мне как написанный очевидцем, и темой первых споров о нем, при которых я присутствовал, был вопрос, имеем ли мы дело с писателем или нет. Я сам на него ответить не мог: мой русский язык, выученный в нацистских лагерях, литературным не был. Впоследствии я поработал с текстом «Ивана Денисовича» и убедился, что текст этот — безусловно, не проба пера, что за плечами человека, его написавшего, уже немало книг, хотя я и не знал тогда об их существовании. С другой стороны, я понял, что человек этот ничего не имеет общего с теми, кого Хрущев во время XX съезда назвал «честными коммунистами». Для меня Солженицын был советским человеком, но с проблематикой, далекой от хрущевской. И, наконец, как бывший лагерник я был убежден в двух вещах: во-первых, что лагерь, описанный в «Иване Денисовиче», и те, что мне пришлось узнать, по своей сути не отличаются друг от друга; во-вторых, что Солженицын сдерживает себя. Я не мог точно угадать, как и в чем, и, к тому же, чувствовал, что говорить об этом нельзя. Я это потому говорю, что уже в 1963 году меня в «Иване Денисовиче» более всего поразило полное отсутствие социализма на горизонте.

Иначе говоря, он одним ударом разрушил обе концепции, которыми подобные мне левые жили со смерти Сталина: 1) что ГУЛаг — это своего рода рак (хорошо, но рак чего? не всего ли организма?); 2) что решить проблему сталинских преступлений можно, только оставаясь на позициях социализма, т. е. внутри левых концепций. Значит, требовалось найти советских левых. И вот передо мною этот человек, о котором я ничего в то время не знал, но уже тогда единственное, в чем я был убежден, — это в том, что для него вся эта проблематика «левые-правые» не имела никакого смысла.

Казалось бы, пятнадцать лет спустя все уже должно стать ясным, сегодня во Франции любой ссылается на «Архипелаг», никто вроде бы уже об этом не спорит, кроме разве что связи между ГУЛагом и советской революцией. Тут вопрос, является ли ГУЛаг отклонением, наростом или же, наоборот, входит в самое существо режима, еще не решен. […]

Вот уже лет десять, как мне без конца говорят: как вы только можете быть другом Солженицына, ведь он правый. Хуже того: говоря о Солженицыне как о правом, подразумевают, что Брежнев — левый. И в конечном счете стремятся дисквалифицировать Солженицына. […]

Я просто думаю, что Солженицын помог нам выбраться из этой проблематики, проблематики «революция — контрреволюция», где то, что не было революционным, непременно было контрреволюционным, и теперь совершенно очевидно, что если уж называть октябрьскую революцию революцией, то ее прямое продолжение было контрреволюцией. И если нужно свести к одной фразе урок, преподанный мне Солженицыным, то она будет следующей: надо вылезти из этого плаща, из-под этой маски, надетых идеологией на исторические факты, добраться до исторической правды, т. е. отказаться от политической лжи, а это требует постоянных усилий. В этом отношении творчество Солженицына — не просто критика, но и широко открытое окно в сегодняшний мир, а мир этот — мир после Октябрьской революции, хотим мы того или нет. […]

**Наталья Горбаневская**. У меня не столько выступление, сколько вопрос, но вопрос, который я задаю себе все время с тех пор, как я на Западе. Я читала еще у Солженицына, что на Западе было издано много книг советских беженцев о советских лагерях, о ГУЛаге. Но раньше я думала, что книги эти, наверно, изданы по-русски и свидетельства оставались недоступными западным читателям. Только здесь я узнала, как много свидетельств было опубликовано на иностранных языках. Все это было, всё это проходило почти незамеченным, но мой вопрос даже не в том, почему тогда не услышали беженцев, не услышали их свидетельств. Это я еще как-то понимаю, но тогда у меня возникает вопрос: почему после «солженицынского шока» Запад «начал слышать»? И почему, тем не менее, даже сам Солженицын иногда «услышан» плохо, неверно?

Для меня это вопрос глубоко личный, потому что, если Солженицына слышат, но недостаточно или неверно понимают, это означает то же отсутствие понимания и по отношению к нам, к любому из нас, будь то беженец из Советского Союза или из Восточной Европы, понимания сути того, что мы делали там и пытаемся сделать здесь. У нас много друзей здесь, но у меня иногда впечатление, что даже друзья скорее зачарованы нашими свидетельствами, общением с нами, нежели глубоко понимают всё, что мы несем в себе. […]

Все ответы, которые мне пока что удалось найти, — частичные, а для меня страшно важно найти ответ хоть на этот первый вопрос: почему «начали слышать»? И я пришла сегодня с надеждой получить что-то вроде более полного, более удовлетворительного ответа.

**Ги Лардро.** […] Самый большой урок Солженицына заключается в том, что, сталкиваясь с ужасом мира, с бесконечным, своеобразным рассеянием своеобразных, личных несчастий, страданий, которые не сводимы ни к какому смыслу и никогда не породят никакого смысла, выход обнаруживаешь не в ступенчатой истории, ведущей к тому или иному раю на земле, а в сопротивлении простых, отдельных людей этому ужасу, этим страданиям, которым они отказываются придавать смысл. Мысль же о том, что мировому ужасу противопоставимо одно лишь индивидуальное сопротивление, уже издавна имеет имя: «нравственность». И величие Солженицына, с моей точки зрения, состоит в том, что после десятков лет, в течение которых идея революции отменила инстанцию морали, он вернул нам величие и смысл нравственности, вернул ее в кругозор нашей мысли.

Я думаю, Солженицын позволил нам раз и навсегда отделаться от старого противопоставления «формальная свобода — реальная свобода», «формальная демократия — реальная демократия». Он заставил нас ясно осознать, что нет иных свобод, нежели формальные, и что всякая попытка противопоставить «реальную» свободу, «реальную» демократию «формальной», т. е. свободе и демократии как таковым — в конечном итоге не что иное, как уловка, хитрость для обескровливания этих свобод, не требующих эпитета. Вот вкратце, чему я научился у Солженицына.

**Клоди Бруайель.** […] Гарвардскую речь произнес тот же Солженицын, который написал «Архипелаг ГУЛаг». В Гарвардской речи Солженицын говорит, в частности, — хотя он всегда заявлял, сколь категорически он осуждает государство, не имеющее законов или не соблюдающее их, — он говорит, что правовая система — это еще не всё. Он говорит, что надо еще заботиться о нравственных ценностях, о духовной жизни человека. На это, конечно, располагая целым кодом готовых мыслей и готовых ответов, легко возразить: «Чего он беспокоится, этот Солженицын! Это всё проблемы индивидуальные. В наше время нравственность стало делом чисто личным, индивидуальным, мы не хотим, чтобы государство давало нам нравственные ценности». Но ясно, что это был бы суд по ложному обвинению: будто Солженицын предлагает, чтобы государство наделяло нас нравственными ценностями! Отнюдь! Зато он говорит, что сегодня интеллигенция и вообще люди должны бы не только заговорить, наконец, о нравственных ценностях, но и воплощать их в жизнь. […]

Можно сказать, что в Солженицыне заложен заряд безграничного оптимизма, когда он утверждает, что человек всегда будет сопротивляться, что всегда есть возможность, свобода сопротивляться. Мне именно эти вопросы, поставленные Солженицыным, кажутся фундаментальными, и не только тем, как он их ставит, но и тем, как и каким образом он на них отвечает. «Жить не по лжи» — это и есть суть всего, и мы сегодня открываем это заново. Мы так научились, все мы — и бывшие левые, и нынешние — практиковать «святую ложь», что нас это застает врасплох.

**Жорж Нива**. […] Множество хитрых комментариев всегда наготове, как только речь заходит о Солженицыне. Я приведу в пример эпизод с Власовым из «Архипелага ГУЛаг»: несколько лет тому назад этот эпизод комментировался по французскому телевидению человеком, прямо заявившим, что книги он не читал. И с таким подходом сталкиваешься постоянно в прессе, и правой, и левой. И я отвечу Наталье Горбаневской: да, несмотря ни на что, Солженицын услышан. Услышан и в некотором отношении одержал победу. Во-первых, благодаря тому, что его голос дошел до нас со страниц московского журнала «Новый мир». Это первая причина. Вторая же, без сомнения, заключается в его искусстве, его гениальности.

Солженицын ставит вопросы, это точно, и хотя мы не обязаны соглашаться с его ответами насчет современной политики, однако, оглядываясь назад, я обнаруживаю, что некоторые его выступления, например, о Камбодже, были на редкость оправданы. Но нам надо подумать, в основном, вот над чем: почему и с какого момента люди начинают задавать вопросы. Правда, что он говорит: «жить не по лжи», «достаточно просто не лгать», — но тут-то и встает вопрос, где найти источник мужества, чтобы не лгать, когда всё вокруг толкает к этому. И вот я думаю, что больше всего Солженицын поразил его западных современников своим историческим волюнтаризмом, тем, что узнаёшь из «Бодался теленок с дубом», а это, наверное, самая прекрасная его книга, где присутствуешь по ходу истории при истинном рождении человеческой воли, которая еще и талант, и литературный гений, и воля решившегося человека. Помните, в «Теленке» Солженицын показывает, что вначале он еще ничего для себя не решил, что решение пришло постепенно, и пришло оно, — и здесь мы не должны забыть это сказать, — благодаря обращению Солженицына к религии. Он мало об этом говорит, но вера присутствует в каждый решительный момент, что бы мы ни читали: «Ивана Денисовича», «Теленка» или «Архипелаг ГУЛаг». От других мемуарных свидетельств Солженицын больше всего отличается тем, что никто до него не ставил себя до такой степени под сомнение, как он. Надо ведь иметь силу написать, как он, что из него вышел бы сталинский офицер, если бы в какой-то момент в нем не взросло семя бунта. По-моему, сила Солженицына — в том, что он указывает, в какой момент уже пора задавать вопросы. Что же касается веры Солженицына, этой потрясающей веры, — она и есть ключ к секрету силы его произведений. […]

**Бен-Яаков**. […] Солженицын ухитрился по-настоящему приоткрыть окно в этот ад. А интеллигенция все спорит и спорит. Она не понимает, что Солженицын — единственный, кто заявил во весь голос: система ГУЛага — неизбежное и необходимое условие существования советского режима, это не деформация, это не прошлое, это суть сути советского режима.

И я не понимаю, почему столько шумят вокруг таких детских игр, как лагеря в Чили, в Греции, в Аргентине. Это, действительно, детские игры, если подумать о шестидесяти миллионах жертв советского режима, о репрессиях, не прекращающихся вот уже шестьдесят лет. Я отнюдь не за генерала Пиночета, но шум, который поднимают вокруг его злодеяний, несоразмерен слабому отклику, вызванному трагедией, адом девятого круга в России.

**Бернар-Анри Леви**. […] Говоря о христианстве Солженицына, надо ясно понимать, что это не наносный элемент, от которого можно отмахнуться, принимая остальное, это не периферийная часть творчества. То, что говорит Солженицын, то, что он нам доказывает, — это, например, такая простая вещь, как невозможность рассматривать вопросы прав человека, проблему прав человека вне духовного контекста, вне религиозной философии. И это, к сожалению, правда. Часто твердят, что права человека были отвоеваны у религии, у христианства, у средневековья и т. д. Беда в том, что это неправда, и Солженицын демонстрирует, что человек, как Солженицын его понимает, как диссиденты Советского Союза и всего мира его понимают, стал исторически мыслим только в христианской перспективе или же в любой другой, но — религиозной. Так что сбывать с рук Солженицына или хотя бы эту грань его творчества, говоря: «Он христианин, это несерьезно, это бредни старого попа», — это, я уверен, непоследовательно и ложно.

Что касается вопроса о государстве. Часто говорят, что Солженицын — сторонник сильного государства. Рассказывают, что он ездил поддерживать франкистский режим, что он поддерживает Пиночета и т. д. С одной стороны, это снова неправда. Относительно сильного государства. То, что нам открывает Солженицын, то, что он нам говорит, и то, что, по-моему, больше всего мешает западным левым: что если СССР таков, как он есть, если, быть может, Народный Китай сегодня таков, как он есть, то это не потому, что там царствуют сильные государства, а наоборот, потому, что эти страны пошли по пути того, что марксисты — и, кстати, не только они — называют «отмиранием государства». Потому, что они уже частично реализовали это. Солженицын нам говорит, что советское общество является обществом, где некоторым образом, будь то на уровне реальности, будь то на уровне грез, — но грез с тяжелыми последствиями, — государство начало отмирать. Что это означает? Это много чего означает. Например, что закон как прибежище прав человека, как прибежище человеческой потерянности — больше не существует. Это означает также, что исчезла прежняя демократическая или либеральная схема государства, правящего или царящего над обществом, а на смену ей пришло  государство, слитое с гражданским обществом. Обобщая то, что открывает нам Солженицын: предельный террор, общество предельного террора — это общество без государства, а общество без государства — наихудшее угнетение, и отмирание государства не имеет другого определения, нежели откровенно записанное в советской конституции 1936 года, нежели приведенное Лениным: отмирающее государство — усиливающаяся власть. Вот в чем дело, и, действительно, исходя из этого или, вернее, забывая об этом, задают вопрос: как же это Солженицын может быть сторонником закона, то есть сильного государства?

Третий момент, о революции. Я не думаю, чтобы Солженицын, как я уже сказал, «подвергал пересмотру», ставил проблемы, поднимал мучительный теоретический вопрос о возможной соприродности революции, как мыслят ее марксисты, и концлагерей. Солженицын говорит, что мечта о революции — достояние не одних марксистов, ее лелеяли и гитлеровцы, например, то есть мечта о революции была и нацистской мечтой. Эсэсовцы тоже мечтали о «новом человеке»: не случайно именно они занимались лагерями при нацистском режиме. Так вот, Солженицын нам показывает, что мечта о революции как таковая, мечта о «новом человеке» как таковая, — и не только мечта о революции в условиях отсталости, и не только мечта о «новом человеке» в ленинской перспективе, — эта мечта в себе самой несет тоталитаризм. И вот почему я говорю, что мы встречаемся с путаницей в вопросе о Солженицыне. Он недопонят и недослышан. Странным образом, его слышат сегодня тем меньше, чем больше читают. Не слышать можно по-разному. Можно не слышать, отказываясь читать. Можно не слышать, отказываясь видеть. И можно не слышать, читая специфически. Потому что французская интеллигенция так устроена. Французская интеллигенция страдает потерей памяти и сегодня изобретает новый вид амнезии. Например, я думаю, глубокое заблуждение говорить, что Солженицын критикует марксизм. Я думаю, он просто открывает нам, что марксизма как такового не существует, что, в лучшем случае, он существовал в сталинской голове. Заблуждение говорить, что Солженицын критикует сталинизм, ибо сталинизма тоже не существует, кроме как в головах марксистов. То, что Солженицын ставит в центр внимания, — это уже не теоретическая проблема, а сама истина века, сам ужас всего XX века, это — в самой обобщенной, в самой радикальной форме — голый ужас, абсолютное зло того бреда, который в нашем веке принял вид разума, по выражению Камю. […]

Если сегодня говорят, что Солженицын нанес удар по левым, завтра скажут, что есть правые диссиденты и левые диссиденты. А послезавтра, — впрочем, так уже говорят кое-какие журналисты и даже кое-какие знаменитые левые журналисты, — что существует левый подход к проблеме концлагерей, как если бы существовал еще и правый подход к проблеме концлагерей. Для меня все эти маневры, то есть любое политическое прочтение Солженицына, — пусть лаже не политиканское, а политическое в лучшем смысле этого слова, — для меня всё это прочтения сокращенные, помехи чтению, помехи и глушилки.

**Филипп Соллерс**. Мне тоже кажется очевидным, что Солженицын не есть некто, кто ставит проблемы, дает ответы, задает вопросы, предлагает посылки, пытается сделать выводы. Такой подход к Солженицыну определяется уверенностью в том, что философия, философская и политическая публицистика могут осмыслить откровение такого рода. Речь же идет не об одном только свидетельстве, но еще и о литературном творении. Я думаю, что если мы хотим покончить с этим господством философии над литературой, которое позволило, например, одному левому публицисту недавно написать, что мысль Маркса куда выше мысли Бальзака (с тем же успехом можно сказать, что мысль Бергсона выше мысли Вергилия), — следует вернуться к главной солженицынской метафоре, к которой он прибегает в «Теленке»: к метафоре о писателе-подпольщике. Нет более прекрасного определения деятельности писателя в XX веке, а может, и испокон веков. Писатель-подпольщик — это тот, кто пишет правду истории. Эту правду не пишут историки, политики, публицисты, ее не пишут философы, — она пишется субъективно и, в конце концов, зарабатывает изгнание или смерть. […]

Вопрос о литературе мне кажется основным, я остановлюсь на нем. Когда Солженицын объявляет заведомо некомпетентным всякий трибунал, который принялся бы судить русскую литературу, или любую книгу ее, или любого русского писателя, я думаю, что это самая сердцевина истины о воздействии литературы на правду истории. Когда он говорит, что литература — самый большой дар, самый совершенный и тонкий инструмент человека и что те, кто возбуждает против нее дело, — сами уголовники и отбросы человечества, он провозглашает правду литературы, пишущей правду истории. И эта правда, которая кажется нам уникальной, вливается в вековечную правду литературы. […]

**Пьер Дэкс**. Я хочу коротко вернуться к вопросу, поставленному Натальей Горбаневской. Почему Солженицын? По-моему, затрагивая только документальный и литературный планы, мы идем по касательной. По крайней мере, если речь идет о восприятии Солженицына во Франции. Я думаю, что по отношению к Солженицыну существует чисто французская проблематика, к этому я и хочу коротко вернуться.

Во Франции мы считали, — да и всё звало нас к этому, начиная с Ленина, — что мы, французы, весьма и весьма приложили руку к смыслу истории. 1789 год, 1793-й, Парижская Коммуна, и как итог — 1917-й. И смысл того, что разыгрывалось в Советском Союзе, в некоторой степени воспринимался — не скажу, как французское национальное дело, но как дело всякой французской партии (в широком смысле), считающей себя наследницей, заступницей принципов 1789 года. Поэтому я думаю, что, если говорить об истории концлагерей, необходимо провести четкий водораздел между тем, что происходило до Второй мировой войны и после.

Перед войной, когда фашизм захватил большую часть Европы и Гитлер был прямой угрозой принципам 1789 года, у нас, несомненно, была очень сильная тенденция отказываться открыть глаза на то, что происходит в СССР. Эта тенденция сводилась к тому, что не только само выживание французского народа, но и весь смысл истории зависит от Советского Союза. В сущности, уже тогда существовала позиция, еще откровеннее принятая левыми после войны, а именно: что Сталин, в конце концов, имеет свои оправдания и что, во всяком случае, все это поправимо. Гитлер — это непоправимо, Муссолини, Франко, хортистская диктатура — это все фашизм, это неизлечимо. И даже если Сталин делал то же самое, что и они, считалось, что все наладится. После победы над Гитлером люди полагали, например, что теперь Сталин вернется к демократии. Таковы были все эти концепции, и я думаю, что шок, созданный Солженицыным, состоит прежде всего в том, что он прорвал молчание, прорвал невероятный террор молчания, окружавшего «неприкасаемые» проблемы. И он задал нам задачу, хоть этой цели себе не ставил.

Во Франции это неумышленное воздействие Солженицына было тем значительнее, что он в самом деле разнес в клочья интеллектуальный комфорт французской традиции, как впитывают ее еще в начальной школе,— и шок, вызванный, в конечном счете, «Архипелагом», действительно заключается в подрыве пресловутого смысла истории. Он, оказывается, вовсе не то, что вы думали. Значит, надо искать нечто иное, и надо всё подвергнуть сомнению, все эти пресловутые теории о революции, которая порождает революцию, которая порождает революцию, которая ускоряет ход истории, и так до бесконечности. Конечно, это удар прямо по коммунистам, по левым, но это еще и удар по целой республиканской идеологии во Франции и по множеству других вещей. И что касается солженицынского кризиса во Франции, то разговоров об этом нам хватит еще надолго.

**Жак Бруайель**. Может быть, больше всего нас поразило, когда мы читали Солженицына, то, что он не исключает своей доли ответственности за ГУЛаг.­ Отстаивая свою долю ответственности за ГУЛаг, он требует и свою долю кары. Он это толкует по-христиански — нас же больше всего поразило вот это отстаивание своей доли ответственности. Той ответственности, которая и составляет основную проблему интеллигенции во Франции и вообще в Европе. Фантастическое потворство, сопутствовавшее рождению советского режима, приводит в недоумение. […]

Ибо, с одной стороны, мы «всё знали» — еще лет в 17-18 мы читали книги, разоблачающие лагеря. Но, с другой стороны, это не помешало нам стать коммунистами. Срабатывало то, что, по-моему, вошло в природу целого направления европейской интеллигенции: мы отвергали нравственный подход, полностью отказывались реагировать на очевидное, и всё это во имя науки, которая на самом деле была миражом науки, сновидением о ней. Только приняв, как Солженицын, факт нравственной ответственности и нравственных ценностей, можно сдвинуться с мертвой точки. Однако целый отряд французской интеллигенции не только систематически распространял идею, что наука может заменить всякую мораль, но и активно участвовал в разрушении нравственности. […] Только тогда, когда находятся силы признать, что нравственные ценности есть, пусть их надо отстаивать заново, но они есть, — только тогда, верующий ты или не верующий, христианин или буддист, возникает нечто, без чего невозможно человеческое общение. […]

**Бернар Футрийе**. Меня лично заинтересовал вопрос Натальи Горбаневской о том, почему до Солженицына как будто ничего не слышали и почему продолжают так плохо слышать и сегодня. Я должен сказать, что я давно уже размышляю о том же, и первый вопрос, который я себе задаю, когда кто-то во Франции, вообще на Западе, говорит о России, — это: «А любит ли он Россию?». Или же снова Россия окажется местом политико-интеллектуальных игр, где западная интеллигенция будет выкладывать свои козыри? В самом деле, французы знали, по крайней мере, с 1928 года: существует книга Бессонова «26 тюрем и побег с Соловков», существует и книга Семенова «Голод», описывающая на двухстах страницах положение Петрограда в 1919 году. Действительно, можно призадуматься. В 1949 году, когда Давид Руссэ председательствовал на известном процессе по поводу советских лагерей, группа узников нацизма обратилась в советское посольство, говоря: мы хотим послать делегацию осмотреть советские лагеря, но учтите, мы хотим, чтобы эта делегация состояла исключительно из заключенных концлагерей, — только они немедленно распознают концентрационный мир. Кстати, с этого же начинается и книга Давида Руссэ о концлагерях.

Конечно, одна из первых причин нежелания слушать — трусость. Покажите сегодня молодым людям снимки нацистских лагерей — они скажут: это невероятно. Увы, как еще вероятно!

Но, кроме того, надо сказать, что между Западом и Советским Союзом существует ряд частных, государственных, культурных взаимоотношений, которые, как я считаю, полностью прячут происходящее там. А еще за этим непониманием, о котором говорила Наталья, скрывается, по-моему, старое презрение к тому, что есть Россия. Нам говорят, — и мне это не кажется вполне справедливым, — что с появлением диссидентской мысли Россия завоевала первое место в мировой культуре. Но французы не хотят ни знать, ни слышать, что русская культура между 1890 и 1914 годами была, наряду с австро-венгерской и южнонемецкой, наверно, самой значительной в Западной Европе — как в литературно-художественном, так и в философском плане. Пусть французские мыслители отдадут себе отчет, чем была русская культура хотя бы в 90-е годы, с Соловьевым и т. д.

Кроме того, часто говорят, что Запад принес остальному миру, включая сюда и Россию, пограничье Запада, сифилис и алкоголь, — я добавил бы: и марксизм. Я убежден, что коммунизм остается продуктом западного мира. Толчок, расшатавший в России социальные, экономические, политические структуры, идет от Запада, — Запад этого видеть не хочет. Вот вам анекдот о том, как объясняют историю России коммунист — француз или русский 56-го года, антикоммунист русский и антикоммунист западный. Французский или русский коммунист: «Виновны отсталые русские массы, капитализм и т. д.». Западный антикоммунист: «Виновны коммунисты да еще эти сумасшедшие русские» (идея, весьма распространенная на Западе). Русский антикоммунист: «Виновны коммунисты да еще Запад». Я думаю, в этом деле никто не без греха. Россия — своим крушением. Запад — который дал первый толчок, который дал России методику тоталитарного режима. Да еще, разумеется, коммунисты — в первую очередь. И я думаю, что завороженность части французского рабочего движения призраком сталинизма и тоталитаризма в России — всего лишь частный поворот фантасмагорических отношений между двумя странами, в которых нас занимает одна лишь экономическая и социальная выгода. В этом, по-моему, одна из причин, почему слова любого русского диссидента так непереносимы.

Для меня Солженицын — свидетель России. Солженицына готовы принять, пожалуйста, только при этом о многом умалчивают. Например, о том, что Солженицын для разрешения проблемы Советского Союза обращается к русскому культурному наследию. Но пусть Запад призадумается: не значит ли это, что на Западе ничего подходящего он не нашел? А наследие это заключается в том, что вместо «нравственный закон» он говорит «религия». А этого слушать не хотят, потому что это голос той России, которую презирали до 17-го года.

**Владимир Максимов**. Я буду очень краток. В общем, из нашей дискуссии совершенно ясно, что Солженицын — явление внеидеологическое. Он не вписывается в какие-то идеологические рамки. Он заставляет нас мыслить вне идеологий, а просто по-человечески. Он в каждом из нас вызывает беспокойство, и в наших друзьях, в каждом читателе. И мне кажется, что в этом главное значение Солженицына. Ибо беспокойство нашей совести, нашего духа — это и есть единственная гарантия подлинной свободы.

*1978, № 18*